

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

БѢГЛЕЦЪ

(ДНЕВНИК НЕИЗВЕСТНОГО)



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АСИ»

Александр Абрамович Кабаков

Беглец: дневник неизвестного

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=250952

Беглец: (дневник неизвестного) / Александр Кабаков. : АСТ : Астрель; Москва; 2009
ISBN 978-5-17-059783-3; 978-5-271-24085-0

Аннотация

«Беглец» – новый роман Александра Кабакова, автора хрестоматийного «Невозвращенца», смешных и грустных «Московских сказок», саги «Все поправимо».

Дневниковые записи банковского служащего, законопослушного гражданина, ставшего не только свидетелем, но и невольным участником исторических событий в начале XX века, провоцируют читателя, поражают удивительными совпадениями с тем, что происходит в наше время. Добротное психологическое повествование, плавно перетекающее в интригующий детектив...

Содержание

Предисловие	4
Александр Кабаков	8
13/ХІІ/1916 р.х	8
14/ХІІ	10
Ночь	11
1 января 1917-го	14
6 января	17
23 янв	20
1 февраля	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Александр Кабаков

Беглец: (дневник неизвестного)

Предисловие



История моего участия в судьбе этого, как говорят в наше время, текста началась тридцать пять лет назад.

Середина семидесятых годов прошлого века была, принято считать, временем глухим, тоскливым, безнадежным – одно слово, застой. Так и я давно привык думать. Однако чем дальше мы от той жизни, тем определённой при воспоминаниях о ней возникает чувство, что присутствовала тогда в нашем существовании некая полнота, картинки были яркими, разворачивалось непрерывное приключение, дул тихий ветерок счастья.

Вот, например, бредёшь по городу без всякого дела – да какие тогда могли быть дела? И почему-то улицы кажутся красивыми, хотя уж какая красота оставалась в не отремонтированных веках, с осыпающимися балконами и облицовочными изразцами домах; и люди вроде бы несут каждый свою тайну, хотя какие уж тайны, кроме времени привоза микояновских полуфабрикатных котлет в заветную кулинарию, мог нести тогдашний горожанин; и как-то бурлит всё, хотя мостовые полупустые, да и тротуары тоже, народу в городе было поменьше раза в два, а уж машин раз в десять...

Конечно, это, скорее всего, стариковская иллюзия, тоска по легкой, безмозглой молодости, но, с другой стороны, маразм-то ещё не так силен, чтобы не мог я его контролировать рассудком. А рассудок указывает, что, конечно, молодость всё скрашивает, но почему же нынешние молодые не так легки, безмозглы и веселы, как мы были? Наоборот – глубоки, умны, серьезны, посерьёзнее любых стариков. Вот и задумаешься, не тоскливей ли настоящая жизнь, а она теперь самая настоящая, с этим не поспоришь, чем та её имитация, которая оставляла силы для бессмысленной радости.

Итак, я жил тогда в постоянной игре, в театре, существовавшем внутри меня, в котором я играл все роли. Одна из этих ролей была вот такая: любитель старины, то есть не антиквариата, конечно, его стояло в комиссионках мало – откуда теперь взялся?! – да и не по моим тогдашним деньгам было покупать антиквариат, а просто старья всякого, помоечных венских стульев и резных буфетов базарного качества, продававшихся в мебельной скупке

на Преображенском рынке, сломанных бронзовых настольных венер и прочего барахла. Им была набита комната, которую я снимал за 40 рублей, треть зарплаты, в коммуналке, а я всё тащил... Это мода такая была в том кругу полуобразованных полуинтеллигентов, в котором я крутился, мода на старьё. Малюсенькая фронда – вот, дескать, отвергаем мы вашу советскую жизнь, хотим окружить себя благородными обломками прошлого, утраченного рая. А что в том раю нам было бы выделено место незавидное, это как-то не осознавалось.

В общем, мне сказали, что в Замоскворечье, в обычном двухэтажном особнячке, которых там сохранилось много, живёт одна бабка, у ней всякой рухляди полно, и она за малые деньги её сейчас распродаёт. Вроде бы она наследница состоятельного человека, до революции старшего приказчика у «Мюра и Мерилиза». Когда грянуло то, что грянуло, приказчик от ужаса и отвращения быстро помер, и остались не богатая вдова-домовладелица с пятилетней дочкой на руках, как было бы прежде, а нищие обитательницы одной комнатки в мезонине. Деньги все пропали, серебряные сервизы, даренные в складчину рядовыми приказчиками старшему на юбилей, быстро ушли в Торгсин, и дальше осталось только тихо голодать, моя полы у людей и в ближней градской больнице. К этому занятию лет с двенадцати присоединилась и дочь... А теперь вдова отошла к заждавшемуся на том свете супругу, дочери, уже тоже старухе, тридцатирублёвой пенсии никак не хватает, хлеб и молоко подорожали с целью «упорядочения цен», вот и распродаёт она всякую ерунду, которую мать хранила, возможно, как доказательство того, что некогда, давным-давно, действительно была жизнь. Да раньше, в более суровые коммунистические времена, и охотников на старьё не было, а в последнее спокойное время появились чудачки... Среди прочего, сообщили мне, сохранился у старухи каталог «Мюра и Мерилиза» за 1913 год, изумительная вещь, рассматривать можно часами, ничуть не беднее, уверяли меня видевшие, нынешних разноцветных западных каталогов, которые привозят сообразительные выездные и продают через букинистические по две сотни, а богатые дамочки покупают в качестве журналов мод. Всё когда-то и у нас было не хуже – том на тысячу страниц тонкой гладкой бумаги, а в нем что угодно, выбор не меньше нынешнего парижского, только печать черно-белая...

Вот что мне рассказали приятели, такие же барахольщики, как я.

За этим каталогом я и пришёл в пропахшую затхлой старостью комнатку под крышей облупившегося до дранки, некогда жёлтого особняка.

От дверей увидел: клад! И даже если бы я собирался до того, как увидел, всё это скучать, передумал бы, не стал бы дурить бабку. Вещи прекрасные, даже павловского красного дерева диван, обитый вполне целым полосатым шёлком, здесь уместился, и всё это можно продать через комиссионку на Фрунзенской за многие тысячи. Бедная хозяйка сокровищ просто не знала, что может устроить себе действительно хорошую жизнь, а мои приятели, видно, тоже посоветились её обирать. У меня же мгновенно появился план – как старухе помочь и самому получить желаемое. С ходу я предложил ей выгодную нам обоим сделку: я помогаю ей организовать продажу всего, с чем она готова расстаться, привожу оценщика из магазина, грузчиков, добываю машину, а за труды хочу получить только каталог – ну, бесплатно, конечно. Выручит она большие деньги, вот, например, одна эта лампа стоит её пенсии за год...

Признаюсь, был у меня соблазн попросить в качестве вознаграждения и ещё что-нибудь, хотя бы немного мелкой бронзы, которой в комнатке было с тонну, но я сдержался – к тому, что не хотел беднягу грабить, добавилось и ещё одно соображение: я помнил, что моя комната и так уже полна под завязку, а ведь придётся переезжать... Каталог же, который между тем уже осторожно листал, мог заменить целый музей! ^тни, тысячи прекрасных фотогравюр, каждую изучить жизни не хватит, и всё там – от егеровского теплого белья и английских одеколонов до револьверов «бульдог», предлагавшихся «путешественникам и велоспортсменам», и кресел-качалок «из настоящего цейлонского бамбука». Огромный

исчезнувший мир!. Всё, что меня привлекало, уместилось в этом тяжёлом, прекрасно сохранившемся, будто его никогда не раскрывали, томе.

Но случилась беда. Мое полнейшее непонимание человеческой психологии дало результат, которого следовало ожидать: старуха насмерть испугалась. Переваливаясь на слоновьих ногах, похожая на ходячую большую грушу черенком кверху, она отошла в самый дальний угол комнаты и оттуда смотрела на меня так, как будто я собрался её ограбить, а то и убить. От сделки она отказалась категорически, почему-то шёпотом – возможно, решила, что я предлагаю нечто противозаконное. Зато – вот этого никак нельзя было ожидать – запросила дикую цену за каталог, сто пятьдесят рублей. Естественно, такой гигантской суммы у меня не было и быть не могло, рассчитывал максимум на четвертной. Торговаться я не умел, да от неожиданности и не стал пытаться.

Установилось нелепое молчание. Она умудрилась почти спрятаться в щели между скалоподобным комодом карельской берёзы и лакированной чёрной этажеркой, испуг её не проходил. Сделав над собой усилие, я положил каталог на стол, на пожелтевшую кружевную скатерть, со вздохом пробормотал что-то вроде «ну, как угодно, дело ваше» и шагнул к двери.

Тут она засуетилась, будто пытаюсь меня задержать, и начала какую-то невнятную фразу – «а подарок, подарок за хлопоты, молодой человек, мне уж ничего не нужно, а вам, может, интересно будет, там по-старому написано, да вы разберёте, вам интересно будет...» С этими странными словами она осторожно, явно преодолевая страх, приблизилась и, непонятно откуда вынув, протянула то, что показалось мне старой книгой. В диком раздражении от всей этой идиотской истории – вот, пожалел старую дуру, вместо того чтобы воспользоваться, и получил благодарность, а теперь мне этот каталог снится будет – я сунул, не глядя, «подарочек» под мышку и вышел. Едва не загремел на крутой лестнице, про которую от злости забыл...

Дома, уже под вечер, открыл даровое приобретение и обнаружил, что это не книга, а тетрадь, листы которой с двух сторон исписаны мелким, безупречно ровным почерком, очевидно, принадлежавшим человеку давнего времени – очевидно, даже если бы было написано без ятей и твёрдых знаков. Начал читать и бросил на пятой странице, дневник показался неинтересным, какие-то вялые размышления о жизни вообще и собственной пишущего, явного неудачника, к тому же алкоголика и истерика, полного обиды на весь мир. Да и читалось написанное по дореволюционным правилам с трудом. Почерк был абсолютно разборчивый, но всё равно фита и ижица каждый раз заставляли остановиться и долю секунды соображать, что за слово написано... В общем, сунул куда-то эту тетрадь в переплёт из узорчатого картона с кожаными уголками и корешком – и забыл.

А недавно нашёл. Удивился, как она уцелела в переездах. Открыл, заставил себя читать...

Потом сел за компьютер, переписал всё по действующей орфографии. И не жалею потраченного времени. Не знаю, чем и как, но эта рукопись, которой без малого сто лет, связана с моей жизнью. Это мог быть мой дневник, хотя я никогда не вёл дневников. А теперь замечаю, что даже давно исчезнувший почти без следа русский язык, которым писал автор, повлиял на мой стиль. Как будто я сам пишу век назад.

Пытаться опубликовать эти записки пока не собираюсь, а там видно будет... ^жет их (ни в каких других дневниках, сколько я их, опубликованных, читал, сюжета не было, какой же сюжет в последовательно описанной жизни), так вот, сюжет мне кажется очень, как сказал бы сам автор, поучительным – особенно прозрачные умолчания в тексте. Он собирался, заполнив тетрадь, сжечь её, как сжигал дневники ежегодно. Чего же опасался? Этого я не знаю... И не знаю, зачем бабка отдала мне тетрадь. Может, хотела избавиться от крамольного по советским временам текста, может, хотела быть уверенной, что он сохранится после её смерти...

Да, вот ещё что: её ведь всё-таки обманули. Нашего поля ягода, старьёвщик-любитель, только в отличие от меня ещё и мелкий спекулянт, которого я постоянно встречал в комиссиях, всё у неё выкупил, всё до последней тряпки и деревяшки, и сильно наварил, что-то сдал на Фрунзенскую, что-то перепродал из рук в руки дуракам вроде меня, но более денежным. Думаю, вырученного ему на «волгу» хватило как минимум... А потом как-то сгинул он, исчез в городе.

Как все исчезают и будут исчезать.

Москва, 2008

Александр Кабаков Б#глецъ (Дневник неизвестного)

**13/XII/1916 р.х
9¹/₂ вечера. Малаховка**

НАЧИНАЮ ЭТУ ТЕТРАДЬ НЕ В ОБЫЧНОЕ время. Прежде мне всегда хватало такой тетради на год, а теперь пришлось уж новую заводить, записи о военных и прочих внешних обстоятельствах прошлую исчерпали прежде времени. Я таких тетрадей купил когда-то дюжину в уже закрывшемся с того времени немецком писчебумажном, теперь чистая осталась только эта, значит, одиннадцать лет прошло.

Страшно думать, как уходит жизнь. Ежели об этом много и часто думать, то не хватит сил дожидаться естественного конца. Я полагаю, многие люди от страха смерти готовы на себя руки наложить, только то и удерживает, что в человеке тварь просыпается, а тварь страха отдалённой смерти не знает, но сиюминутной сопротивляется.

Не следовало бы такими рассуждениями открывать новую тетрадь, да что ж поделаешь, коли только об этом все мысли.

Да, уходит жизнь, а жаль мне её? И так можно ответить, и по-другому, а всё будет неправда. Какой жизни мне жалеть? Той ли, что идёт без всякого смысла и радости год за годом, в мелких ухищрениях сластолюбия, в муках ущемлённой гордыни, в непрестанном напряжении сил ради животного существования своего и зависимых от меня? Или той, которая могла бы быть и, чудится, ещё может быть? Жизни ясной, спокойной, умеренной, за которую можно пред Создателем без стыда ответить? Так ведь той, которая могла бы быть, той уже не будет, это ясно видно. Но и той, какая есть, всё же жалко. Вдруг ещё изменится, вдруг ещё окажется, что не поздно.

Впрочем, хватит. За окном беспросветно, будто уже глубокая ночь, с четырёх пополудни тьма. В газетах одни только кровь, смерть и подлость. Вот и мысли соответственные.

Истинная же моя беда в том, что живу в хорошей зимней даче, в тепле, средства добываю не тяжелою работой, а необременительной и достойной службой, не болен опасно, уважаем даже многими, но – один. И кто ж повинен в том, что один? Да сам, более некому. С сыном почти разошёлся, далеко он, единственный близкий человек, с женой, почитай, два слова скажу в два дня, друзей не сторонюсь, но в душе не ставлю в грош. Всего меня лишил давно поселившийся во мне бес суеты. И только я сам знаю, что нет никакого господина Л-ва, пятидесяти трёх лет, из мещан, служащего начальником департамента в небольшом акционерном банке, а есть бес в моём, то есть господина Л-ва, обличье.

Два дня тому в Большом Московском был устроен обед по поводу присуждения нашей компании медали от Торговой и Промышленной палаты. Почему-то только теперь выбрали момент – ничего не скажешь, подходящий: мало того, что война делается всё страшнее, так ещё и пост. Я всячески показывал свой интерес ко всему, что происходило, – и к глупым тостам, на которые особенный мастер дурак и пошлый остроумец З-ко, и к самой награде, до которой мне дела нет, как и до всего нашего предприятия, да и до финансового дела вообще, и к пьяным под конец вечера крикам, и к прочему веселью. Опять суетился, заигрывал со всеми подряд, угождал словами, которых от меня ждут, – я ведь хороший малый, всем приятный. Бес, бес.

И всё это Рождественским постом. Никто и не вспомнил. Или вспомнили, но, как и я, стеснились обнаружить такую старосветскость, как соблюдение постов. Театры играют, в ресторанах дым коромыслом, устриц блюдами лакеи таскают и сабли рекой льётся. Днём же, особенно по домам, будут гуляки варёную треску вкушать, а то и одну кашку на воде.

В каждом свой бес сидит.

А мне хотелось этого З-ко убить. Самым натуральным образом – взять шандал да в висок. Или, вполне возможно, не З-ко, а самого управляющего, добрейшего и свойского М-ина, всё норовившего медаль ополоснуть в шампанском.

Мерзавцы и дураки.

Но чем я лучше? Очень может быть, что и каждый из них смотрит вокруг с таким же отвращением, и первый предмет этого отвращения – я. Что, несправедливо? Я про себя знаю довольно... Вот разве единственный вопрос: как они-то догадались?

14/XII 10 утра

ВСЁ СНЕГУ НЕТ. А МОРОЗ ЗАВОРАЧИВАЕТ порядочный, погубит озимый хлеб, то-то будет нашим страдальцам за народ дел – примутся спасать голодных газетными статьями и спичками под бургундское на благотворительных балах. Сумели ж они помощь солдатам превратить в бордель, в мундирный маскарад, когда каждый земгусар глядит Денисом Давыдовым...

Пошёл к утрине, но и четверти часа не выдержал в храме. Как обыкновенно, мысли набежали самые отвратительные, никак их не утихомиришь, кажется, что безобразие моё внутреннее всем видно и молиться достойным людям мешаю. Перекрестился и вышел вон и тут же получил подтверждение своим чувствам: дверью едва не зашиб старуху, дачницу из постоянных, с которой шапочно знаком. Молча поклонился, а она, посмотрев мне в лицо со страхом, как если бы нечистого увидала, поспешно ступила в сторону. И целый выводок прислуги, кухарок и компаньонов, которые всегда её сопровождают в церковь, так же поспешно, теснясь на затоптанной и скользкой паперти, отступил от меня. Что ж такое на мне изображено?

Пора ехать в службу, и даже хочется. Лишь бы из пропахшего табаком, сильно с утра натопленного кабинета, подальше от этого стола, от тетради, от тяжкого недоброго молчания, которое идёт сквозь закрытую дверь спальни, где безвыходно остаётся до моего отъезда жена, от холода пустой столовой, где горничная, глядя на меня с тем же испугом, что старая дачница, подала, когда я вернулся, отвратительно остывший кофейник и вчерашние булки. От себя самого, ненавистного больше, чем пошляк З-ко или добряк М-ин.

Издалека от станции донесётся паровозная гарь, в вагоне будет тепло и сильный запах одеколонов, как положено от публики в первом классе. Прямо с вокзала извозчиком на Мясницкую, в контору, в негромкий шум голосов под высокими потолками... И не чувствовать ничего, а вечером в собрание или в трактир, встречу кого-нибудь...

Всё, пора. Коли будут силы, ночью напишу нечто важное, о чём давно уж хотел написать.

Ночь с 14 на 15 декабря

ПРИЕХАЛ ПОЗДНО, НЕТРЕЗВЫЙ, ЗАСНУТЬ не могу – вот и напишу наконец то, что давно собирался.

Итак, что же со мною происходит?

Живу я отвратительно, в состоянии, близком к умопомешательству, всякий момент готов к истерическому припадку, как манерная дамочка, а почему?

Первая причина понятна – водочка проклятая. Пью её каждый день, а зачем пью, неведомо. Добро бы, делалось мне в пьяном виде приятнее жить, так ведь нисколько! Один лишь туман, полусонное затмение, сумрак, а более ничего. Если же не в своем убежище, не в одиночку приканчиваю стоящий в буфетной графинчик, аккуратно возобновляемый прислугою, наверняка при этом презиращей пьяницу-хозяина, а хватаю рюмку за рюмкой в компании знакомых, в трактире или ресторации, то, бывает, что-нибудь нелепое, несуразное, неуместное ляпну. И наутро вспомню, буду мучиться, ругать себя и зарекаться. Так для чего же пью?

Болезнь. Вот говорят, что болезнь эта наследственная, но ведь батюшка-то, Царствие Небесное, хоть и не прочь был от рюмки, да ведь ничего подобного моему пристрастию не имел, отчего ж я так привык? Правда, отец и средств не имел таких, чтобы ежедневно по трактирам и ресторанам употреблять шутовский или мое любимое смирновское столовое... Но не в одном только недостатке дело. Что-то, значит, в душе моей есть такое, что-то слабое, податливое, требующее ограды от действительной окружающей жизни. Именно в душе, потому что ума я от выпитого почти не теряю, разве что, как сказано, иногда глупость какую-нибудь сморожу, да тут же и раскаюсь. Но безобразий никаких, скандалов и бесчинств не устраиваю никогда, тих и пристоен. Одна знакомая дама, супруга нашего клубного старшины, пеняя ему на безобразное под его управлением пьянство, приводила в пример меня, вот, дескать, Л-ов, хоть и пьет не хуже вашего, а вести себя умеет, джентльмен. Он мне сам об этом со смехом рассказывал. Благородный человек! Ведь того, кого жена в пример ставит, любой возненавидел бы, а он только пошутил – тут же мы с ним по паре рюмок и хлопнули. А «джентльмен» ко мне пристало, так и окликают друзья в собрании – мол, джентльмен, сэр, с улицы-то, для начала, лафитничек...

И все прочие мои болезни – и желчные рези в боку, и утренняя слабость – все от этого главного недуга. И то сказать: сколько ж организм может терпеть такие надругательства? Хорошо хоть, что к шампанскому и прочим французским ядам не имею вкуса, подагры пока нет.

Вот ведь – жизнь кляню, а смерти боюсь. Отчаянно боюсь. И молитва не помогает.

Ну, да ладно. Каждый день даю себе зарок, и иконку стал носить, Неупиваемую чашу. Бог не попустит раньше срока, а в срок все успокоимся.

Тут же место и вторую причину моей ипохондрии вспомнить: семейное мое неблагополучие.

Впрочем, единственным отпрыском, сыном, Он меня утешил. Хотя бы о родном моём, пожалуй, что других близких и нет, человеку не тревожусь. Курс окончил блестяще, женат не то чтобы счастливо, а покойно, прочно, жительствоует в Женеве, где, вместо того чтобы связаться с эмигрантскими нашими «рэволюционэрами», занялся серьезно биржевой игрою и играет осторожно и удачно. Похож он на меня по душевному складу, и пока жили рядом, беседовали с полным пониманием, только он покрепче, меньше жизни боится или умеет свой страх скрывать. И потому, верно, теперь удалился из нашего кошмара. Жаль, не выдаемся совсем... А внуков мне Господь не послал, но я и тут вижу преимущество, по моему

эгоистическому характеру тем спокойнее, чем меньше потомства, о котором тревожиться следует.

Что же до женщины, которая спит сейчас на другом конце дома, пока я тут папиросу за папиросой жгу и вот эту тетрадь порчу, то главная моя беда в ней, в моей уже без малого тридцать лет как невенчаной жене, и состоит. Ради же справедливости скажу, что и её главное жизни несчастье состоит во мне. И как это получилось, я иногда понимаю, иногда перестаю понимать. То её виню едва ли не в убийстве моем духовном, то себя в разрушении её надежд.

Женитьба моя была бы странной для любого другого человека, но для меня – самой что ни есть натурально связанной с моим обычаем жить вообще. Женился я как будто и по любви, причем по любви и нежной, и страстной, поглотившей меня на годы, привязавшей меня к этой женщине крепко... А в то же время и как будто по обязанности.

Это следует самому себе уяснить.

Не то чтобы я поступил как порядочный человек, который, бывает, сделает предложение, а потом и пошёл бы на попятную, да неловко, неблагородно – нет, я не её обмануть не мог, а как будто себя. То есть обязательство у меня было не перед нею, а перед самим собою и даже более того – перед своею же любовью. Мог бы я отказаться от неё, будучи не вполне убеждён, что делаю шаг верный, на всю жизнь связывая себя? Мог бы, тем больше, что и она сама меня предостерегала и вместо бурного согласия сойтись навсегда предложила подумать, истинно ли я готов, не пожалею ли... «А уж если вы точно решили (помню я её слова, будто сейчас слышу), то знайте, что я такой человек, который от вас потребует вас всего, без остатка и поблажек». Тут бы мне и опомниться, и испугаться, поскольку, невзирая на молодость, уже знал свою натуру и, прежде прочего, свое женолюбие и склонность к увлечениям. Я же, напротив, ещё твёрже повторил предложение и принялся настаивать, будто повернуть дело вспять означало бы перечеркнуть не только этот предполагающийся гражданский брак, но всю мою жизнь.

Не знаю, понятно ли тут всё написано, да неважно. Читать этого не предстоит никому, даже и мне самому. Спалю, как заполню, и эту тетрадку в плите на кухне, как спалил уже одиннадцать заполненных, и сгорит она, как сгорит наступающий год, как сгорели все годы моей жизни. Останется одна зола, которую выгребет кухарка и рассылет по заднему двору, где куры ходят. И от жизни моей останется прах, и восстанет ли, соберётся ли он на Суд?... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Терзал я её своими изменами и перед нею, без сомнений, виноват. Да только лукаво подсказываю себе: а разве она так уж вовсе не виновата? Разве хотя бы малые силы потратила она, чтобы привязать меня к себе теми проявлениями любви, которые только и нужны были мне, всюю той любовной суетою, которой я искал в других женщинах и находил... Она же была сурова в любви, как в послушании, а мне такая суровая, строгая любовь не годится. Иногда вовсе глупая мысль приходит: а не может ли быть, что всё дело в её дворянском и моём мещанском, только два поколения от податных, происхождении? Или, может, просто недобрый она человек, а я просто слабодушный? Может, и так, да уж какая теперь разница. Живём врозь, даром что крыша одна.

Справедливости ради следует признать, что её жизнь в Малаховке тосклива, словно в ссылке. Храм, да ещё прогулка до станции в компании горничной и собачек, да ещё визиты к двум-трём подругам, жёнам чиновников, живущих, как и мы, постоянно на даче... И так уж годы. Что, кроме обиды на судьбу и меня, такую судьбу ей давшего, может быть в её сердце? Она ещё более одинока, чем я.

А не в том ли вся причина, что не венчаны? Страсти давно нет, а Божьих уз и не было...

Что ж связывает нас? Письма от сына, дом этот и две её китайские собачки, в которых она души не чает, да и я, признаться, очень к ним привязан, видно, взамен настоящей семьи.

Сейчас они в спальне с нею, спят на ковре вповалку, а утром придут и ко мне, будто бы поздороваться, вползут в кабинет животами по полу... Отчего у них всегда грустные глаза?

Хватит писать. Завтра продолжу, а то уже и ночь почти прошла, пока я бумагу своими откровенностями терзал, и хмель почти весь выветрился. Ввиду чего сейчас осторожно, стараясь не скрипеть дверьми и наступать потише, пойду в буфетную, приму своего лекарства полную дедову стопку, ещё оловянную, уцелевшую от древних времен, повторю порцию, потом, понося себя внутри последними словами, третью... И вернусь в кабинет, где мне на диване ещё с вечера постелено.

А в службу завтра не поеду, пропади она пропадом. Разве что к вечеру выберусь, а потом куда-нибудь ужинать.

1 января 1917-го от Рождества Христова года. Семь часов вечера. Малаховка

ПОСМОТРЕЛ ПОСЛЕДНЮЮ СВОЮ ЗАПИСЬ. Вот я весь в этом: собирался продолжить излияния на следующий день, а вместо того половину месяца не записывал, включая и всю Рождественскую неделю. И ведь каждый день находил объяснение, почему на дневник сейчас ни времени, ни сил нету, а вот только на рюмку и пустую беседу! Уж о храме не говорю – еле праздничную всенощную выстоял и скорей к столу, ведь повод же для пьянства...

Однако были и настоящие причины, по которым не хотел и даже не мог писать. Война и должные последовать за нею неизбежные, едва ли меньшие бедствия всё более удручают, в воздухе уже нечто такое есть, что и последние надежды избежать худшего развеиваются. И тут уж не до самоуглубления.

Чем дальше, тем очевиднее мне, что и небывалое кровопролитие, которому уже два с половиною года, и неизбежные этого кошмара будущие следствия предопределены были деятельностью именно и в первую очередь образованной части мирового и в особенности русского общества в тот Богом посланный нам, но впустую и даже во вред прожитый промежуток, который был между Пресненским восстанием и войною.

Вот принято во всём винить кого угодно. Бешеного Вильгельма, нашего Государя и особенно окружающих его, распутинщину позорную и отвратительный её конец, глупых и сумасбродных миллионщиков наших, едва отучившихся в рукав сморкаться, как уж ставших либералами и прогрессистами, всемирных заговорщиков, устроивших всемирную же кровавую баню, всякого рода извергов, идейных разбойников, которые, на этом я твёрдо стою, ещё хуже разбойников обыкновенных, корыстных... И так всех подряд, хотя бы генералов, несколько не улучшившихся по отношению к тем, которых Салтыков изобразил, или мужичков наших, которые так и норовят винтовки побросать да приняться за любимое с давних времён дело – именина жечь.

И всё это верно. Но, хоть убейте меня, я, поверх перечисленного, другое главное бедствие вижу, и не в одной только нашей несчастной России, а во всей Европе, если не во всём мире – бедствие это называется декаданс.

Не о том речь, конечно, что художники стали монстров писать вместо людей и ад вместо Божьего мира, что картины их стали зарисовками бреда, в белой горячке могущего привидеться. И не о том, что литература сделалась уже сплошь изображением распущенных истеричек и выроdkов, людей dna и «подполья», как выражался господин Достоевский, сам сильно к этому руку приложивший, принялась воспевать мерзости и безумства, да ещё и хамским либо вовсе придуманным, выморочным языком. И даже не о том, что нравы культурных людей опустились до нравов публичного дома и каторги, и не стыдно, а привлекательно стало быть завистливым негодяем и бессовестным лгуном – нет, всё это только поверхностные приметы болезни. А суть болезни проявляется в полном и проникшем до самых основ гниении той жизни, в которую мы пришли когда-то и которая ещё сохраняла черты данного Создателем человечеству и исторически проверенного устройства. Все эти наши горькие, андреевы, скитальцы, врубели и tutti quanti, как и все эти их метерлинки и парижская школа – все они только были сыпью, а сама-то зараза глубоко пошла. Нет, декаданс не в кофейнях и артистических клубах, где шарлатаны выкликают шарлатанские заклинания под видом стихов, а публика аплодирует фиглярским пророчествам катастрофы, делаемым лжепророками ради скандала и денег. Не в гостиных, где присяжные поверенные и дантисты прокламируют

свои рецепты справедливости и спасения человечества без Спасителя. И не в одной вообще культуре декаданс, а во всей нашей жизни, в душах, воспринявших болезнь от первоначального гноиника – от культурного общественного слоя. Новомодные знаменитости позировали в сапогах бутылками и шелковых рубашках для «исторических» фотографических снимков, поносили всё, что их подняло из ничтожества и прославило, отвергали не одного только Царя, но и Отечество, и Веру. Их надо было бы в жёлтый дом, а вместо того их слушали, как оракулов, и обязательно беловолосый босьяк затягивал пошлую «Дубинушку», расходуя по своему босьяцкому разумению великий дар Божий. Вот и дослушались – рушится всё, и, настаиваю, не одна только наша пропащая держава, а именно весь мир, по крайней мере, христианский. Хлебнём ещё мы этой войны.

Следует признать, что всему выше кратко описанному предшествовали не менее очевидные, хотя не такие всеобъемлющие проявления общественного нездоровья. Взять хоть то помрачение умов, которое нашло на образованную нашу публику, одобрявшую травлю, а потом и убийство Царя-Освободителя, истребление генерал-губернаторов... Барышню благородную и образованную в участке высекли, это дикость, конечно, Азия и зверство. Но почему ж, когда мужиков и баб обыкновенно, заурядно пороли в таких же участках, заметим, уже не рабов, а вольных граждан Империи, почему же из-за этого наши народолюбцы за револьверы и бомбы не хватались? А? Вот в пятом году и дождались новой пугачёвщины, и радовались ей, как дурак пожару... Более того – и проповедь графа Толстого, осмеливаюсь считать, была из того же разряда общероссийской мозговой горячки. Но то были заболевания всё же нервные, психические. Декаданс же – это (пишу не для посторонних глаз, так что не буду осторожничать в словах) истинный сифилис, поразивший все органы общественного тела, и мозг, и скелет, и сердце.

А что кроме декаданса есть? Пошлый лубок для плебса, так и тот теперь с «идеями»!

Для какой цели я это пишу, от расстройства весь в ледяном поту, еле сдерживая себя, чтобы не прибегнуть к испытанному средству успокоения, что хранится в буфетной? Не знаю... Быть может, для того, что, начавши в прошлых записях судить себя, не смогу описать своих собственных грехов, не указав, что все они суть тоже декаданс. И хотя отвратителен он мне, а и я не уберёгся.

Итак, что же со мною происходит в то время, как человечество себя истребляет? По первому взгляду, ничего такого особенно ужасного. Суетен в желании угодить своей среде? А кто ж не суетен? Склонен к разрушительному пьянству – да разве я один, особенно в России? В браке несчастлив и жену свою несчастной сделал? Обыкновенная история. Чем же в таком случае я настолько плох, что места себе не нахожу и через эту тетрадь пытаюсь с собою примириться? Прямой ответ будет: не знаю, но плох так, что не могу больше жить и всё чаще, признаюсь, выдвигаю ящик стола, за которым сейчас пишу, и смотрю долго на сизый револьвер, лежащий там в соблазнительном виде. Вот до чего дошел.

А знаю ли другой выход? Монастырь был бы в самый раз, но куда мне... Да и вряд ли скроет монастырь от того, что будет. Другие нужны стены...

Ну-с, однако довольно. Лучше опишу содержание минувших двух недель. В службе было много хлопот, как обычно в конце года, будто не год кончается, а все времена. Положение банка нашего недурное, учитывая же военные сложности в общих финансах – и вовсе отличное. Суммы от правительственных заказов, как водится, наполовину ушли прямо в карманы подрядчиков, а не на дело, так что через наши кассы текло в минувшем году денег много, даже невообразимо много. Большею частью направлялось это через вторые и третьи банки неведомо куда, то есть очень даже ведомо – в те края, где, слава Богу, сын мой обретается, в надежные швейцарские хранилища... А нам шёл хороший процент.

Словом, несколько сослуживцев – симпатичный мне Н-ев из учётного департамента, вечно глуповато-веселый мастер армянских анекдотов Р-дин, товарищ управляющего, и

франт и жуир Ф-ов, начальник кассового отделения, – предложили, отдохнув на Рождественской неделе, отметить Новый год и новогодние награды, которые дошли до четверти годового жалованья, семьями в «Праге». Честно сказать, мне это празднование вовсе не было заманчиво, чего стоило только вынести предварительный разговор с супругою, однако благовидного отказа я в момент не придумал, так что пришлось соглашаться. И вот – пожалуйста: вчерашний день. Дом наполнялся тихим недовольством, покуда она собиралась, а горничная бегала с утюгами и щипцами. Потом в поезде молчали в течение почти полутора часов, я читал «Новое время», она смотрела в окно так неотрывно, что любому стороннему было бы понятно – это она специально для меня так смотрит. Забавно было то, что напротив сидела точно такая же пара, немолодые, хорошо одетые, пахнущие дорогими духами люди, тоже явно едущие на встречу Нового года и тоже не разговаривавшие друг с другом. Такое отражение утешило меня.

На извозчике до «Праги», потом полная ночь глупых разговоров и неумеренных еды и питья – Боже, какие же пошляки мои коллеги, не говоря уж о супругах их. Вероятно, и я им вижусь так же... Ни единого осмысленного, идущего если не от души, то хотя бы от ума слова! Всё банальности – и сплетни, и рассуждения хотя бы даже и о войне. И за всем этим – ещё едва ли не три часа обратной дороги. Правда, я в поезде дремал. Обошлось же веселье в 380 рублей с пары, не считая езды, причем на чай дал я один за всех, другие как-то отвлеклись...

А сегодня полдня лежал в постели, потом в одиночестве обедал одним только чаем – несварение! Жена и вовсе не выходила из спальни.

И газет нет – то ли не печатались по случаю праздника, то ли дворник, которому положено, на станцию не ходил. Пусть. Вот дописываю эту несуразно длинную записку, да пойду всё же хвачу стопку-другую, а то не засну, с этим ночным бдением окончательно распорядок нарушен, сон же у меня и без того некрепкий.

6 января 1917 года

ДЕНЬ, СЕЙЧАС УЖЕ ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ, был весь посвящен делам и размышлениям о практической стороне событий.

На двенадцать с половиною утра был назначен у М-ина совет относительно обращения с наличными ввиду войны и потому все более затрудненного сообщения с банками в Швейцарии и в Англии. А дела наши идут именно и преимущественно со швейцарскими домами, поскольку благословенная эта страна сыроваров, часовщиков и менял уже век не воюет, умные и реалистические люди.

Чтобы успеть к совету, я поехал ранним поездом. Пассажиров и в первом классе было много, так что все диваны были заняты, и какой-то господин, усевшись рядом, всё ворочал листы «Русского Слова», задевая меня ими по самому носу. От вокзала пошёл я на Мясницкую пешком, потому что времени ещё оставалось достаточно, можно было и пройтись, и у себя в департаменте бумагами заняться часок до совета. Несмотря на порядочный мороз, под ногами было слякотно, как всегда в Москве, а особенно вблизи вокзалов. Иногда проваливался в лужи выше калош, забрызгал не только брюки, но и шубу едва ли не до пояса... Шел и думал о том, что будущее вообще страшно, а для меня и моих подопечных просто безнадежно. Слава Богу, сын на своих ногах и в хорошем месте! Но есть ещё жена с её собачками, есть колченогий дворник, старая, почти дряхлая кухарка, которая у нас служит десять лет, бестолковая горничная – куда они без меня? И вот же какая странность: жену я не люблю, прислуга всё же не родня, а прислуга, разве что собачки обожаемые... Однако испытываю к ним ко всем ужасную жалость. Не смогу их содержать – по миру пойдут, с голоду погибнут. Сын помочь не в состоянии, далеко, да ему и самому с женою едва на жизнь хватает его спекуляций... А моё обеспечение, я уж ясно вижу, не вечно.

Банк наш, невзирая на его нынешние успехи, вернее же, как раз по причине этих успехов, непременно должен в скором времени или обанкротиться, или так каким-нибудь образом погибнуть. Войне конца не видно, средства на неё уходят невообразимые даже для меня, не талантливого, но опытного в финансовом деле человека. Военных государственных долгов сделано более 40 миллиардов... А что всё ж таки после войны будет? Настанет пора платить по счетам, тут и вся Богоспасаемая Российская держава может банкротом сделаться, а уж наша контора, особо нажившаяся от новобогачей военного времени и торгующая обязательствами и контрактами, то есть пшиком, без сомнения в трубу вылетит.

А хотя бы и не вылетит, так я вылечу, в мои годы продолжение карьеры сомнительно, везде молодёжь набирает силу...

Накопить же я ничего толком не успел, а ведь всю жизнь работал, как ломовая лошадь! Но жил на широкую ногу, дачу, видишь ли, отгрохал двухэтажную, в содержании дорогую и для жизни человека, служащего каждый день в присутствии, неудобную, прислуги держал прежде по пяти человек, зачем-то выезд с кучером, рысаков имел (слава те, Господи, что избавился, хорош бы теперь с ними был), за одну ночь в «Стрельне» тысячу пропивал, спеша за всех платить, – я же добрейший, открытой души малый. Вся эта роскошь, надо заметить, была не совсем первого сорта, как и обычно у меня. Финансист не высшего разбора, вместо имени дальняя дача, не больше, капитала настоящего нет... А теперь уже едва концы с концами свожу, при нынешних-то ценах, а дальше и того хуже будет. Рождественские награды уже трачу.

Чёрт бы меня взял.

Никакого выхода из этого состояния не вижу. Впереди – тьма.

Некоторые утешаются, удивительное дело, чтением газет. Вот тот же Н-ев, сослуживец и добрый мой приятель, один из немногих порядочных и неглупых людей в банке. Всё говорит мне одно и то же: посмотри, как люди по всему миру бедствуют, почитай, сравни со своим положением, мы с тобою ещё счастливы выходим... Но я не могу успокоиться тем, что немецкие агенты в Лондоне взорвали завод военной амуниции и едва не полтысячи народу убили. Мне этих взорванных англичан жалко, очень жалко, и семьи их жалко, но от того не становится меньше жалко должных впасть в нищету моих домашних – ненавидящую меня жену, кухарку, вечно забывающую в суп соли бросить, горничную, дворника и собачек, собачек китайских!

Говоря короче, от этих, никогда в последние месяцы и даже годы не покидающих меня мысленных страданий принял я экстренную меру, благо как раз поравнялся с небольшим заведением позади Красных ворот. Мера состояла в двух подряд рюмках смирновской, заеденных небольшой сайкой, и в третьей, выпитой уже безо всяких, под расчёт. После уличной сырости и мороза с ветром сделалось мне жарко, пришлось расстегнуть шубу в поисках платка...

И тут вдруг я увидел себя со стороны. Будто даже не в зеркале, а именно как-то изда- лека, вроде бы проходя мимо трактира и заглянув в окно. Вот стоит приличный господин немолодых лет, в хорошей шубе на лирном меху, котелок в руке держит, утирает вокруг рта и под носом после выпитого, сигару раскуривает, но хмурится чего-то... А чего ему не хватает? Всё у него есть.

Утешился. И всего-то надо было – водки выпить.

В таком не то чтобы приятном, но облегчённом настроении пришел в службу, разделся, сел телеграммы смотреть и быстро, надобно заметить, с ними справлялся, тут же диктуя ответы барышне прямо на унтервуд либо ставя решения на том, что ответа не требовало. Делал это почти механически, рутина, знакомая мне по крайней мере лет пятнадцать.

Разобрав таким образом почти всю почту, отправился к М-ину на совет. К тому времени следствия от выпитого уже прошли, настроение моё снова испортилось, а совет его никак не улучшил. Положение наше оказалось ещё осложнённой, чем я полагал. Наличные деньги от прибыли во всяком виде, и в бумагах, и в золоте, хранились здесь же, в подвале, в несгораемых ящиках, к которым приставлены три артельщика в три очереди, вооружённые револьверами Нагана. Да ещё по панели перед нашей и соседней банкирскими конторами прежде прохаживался городской, просто для порядка, и потому от нас награждавшийся к праздникам десятью рублями, но что-то не видно теперь того городского... Трудность же заключалась в том, что суммы скопились большие, так что следовало выбрать: оставлять ли их в стальных ящиках, либо перевести всю наличность в акции, либо отправить со специальным курьером в цюрихские хранилища.

Относительно ящиков все были единодушны: и Н-ев, и Р-дин, и дураковатый З-ко, и сам М-ин считали, что положение в Москве ненадёжное, еле не каждый день пишут в газетах о грабежах, о беглых кассирах и прочих покушениях на наличность, так что никакие стальные ящики спокойствия не обещают.

Что до покупки на эти деньги даже самых надёжных акций, то это сейчас стало бы чистым безумием, потому что все котировки скадут, 4 %-ная рента едва ли не до 80 рублей, «Кавказ и Меркурий» до тысячи с небольшим, Восточное общество около 400, Братья Нобель немногим меньше двух тысяч... А когда такой ажиотаж, то биржа в любой момент может упасть. При этом съестных припасов не хватает, товарные поезда не успевают под- возить, всё дорожает, а хлеб, особенно белый, и по карточкам не всегда получишь. Сейчас в Петрограде уже совсем нехорошо, из чего следует, что скоро будет и в Москве. У магази- нов хвосты народу. Так что любые акции ещё ненадёжнее несгораемых ящиков, когда дело голодными беспорядками пахнет.

Наконец, отправка наличности в Швейцарию или в Англию. Дело и в мирное время было бы рискованное и тяжёлое, не единственно потому, что ограбить могут не только в России, но даже в Англии, а и просто сил потребовалось бы много, мешки неподъёмные, и надо было бы нанять курьера, надёжную охрану и брать носильщиков, и немало заплатить не только за их службу, но и за самый проезд. А тут ещё и война: где курьеров найдешь, чтобы им доверить эдакие деньги? И, главное, каким путём везти? Можно через Финляндию и далее по Европе тайно, но риска много, что в Германии российские средства арестуют. Можно через Архангельск пароходом в Англию, но там как раз на германскую субмарину попадешь... По существу дела надо признать, что европейские границы сделались к концу прошедшего года почти непреодолимы, так что перевозка должна стать настоящей военной операцией, а кто её исполнит?

Между тем, в наличности этой заключена как раз вся наша, участников совета, они же и главные дольщики банка, прибыль. До поры мы считали, что так надёжней всего, и, по существу, были правы. Но в каждой правоте есть своя ошибка...

Ни до чего не договорились, просидевши более трёх часов, и разошлись все с мигренью. А М-ин ещё оставил у себя Ф-ова, видимо, для отдельной беседы не по предмету совета.

Обязательно погибнет наш банк, обязательно!

Мучимый головной болью, я решил на этом занятия сегодняшние закончить и опять пешим ходом отправился на вокзал, проветриться по дороге. Конечно, и опять заглянул куда не следовало бы, рядом с магазином Высоцкого, пил... Потом, с поезда, зашел в стационарный буфет, встретил соседа С-вича, через две дачи от нашей живёт, служит в управлении Московско-Казанской железной дороги, из выкрестов. Потребовали под предлогом встречи полбутылки сомнительной водки (коньяк был ещё сомнительней), сардин, языка холодного с хреном, окорока ломтями... И долго вспоминали летние концерты в нашем малаховском театре. Ведь там за обязательный свой бешеный гонорар сам Шаляпин пел, не кто-нибудь! А потом сбились на обычное – Алексеев, Гурко, Брусилов... И снова – Чхеидзе, Пуришкевич, Щегловитов... Вдруг С-вич, тихий и добрый человек, затрясся и зашипел, как кот: «Ненави-жжжу! Всех! Будь они прокляты, изломали жизнь людям, изуродовали страну! И сам... помазанник, а?... Вырождение, вырождение, а нам-то за что?!» Замолчал, вытер показавшиеся слезы салфеткой, отвернулся... Выпили ещё по рюмке, потом вместе, шагая след в след, пошли по узкой тропинке между высокими сугробами не слишком давно выпавшего снега. Стемнело уже густо, снег отливало под звёздами синевой, собаки гулко лаяли и вдруг принимались выть во дворах, а издалека, от пруда, где устроен каток, который будет вплоть до пробивания иордани, чуть слышно доносились голоса... На перекрёстке мы коротко распрощались.

Да, невесело прошел день. И опять буду утром держаться за бок, горячий ком в животе будет ворочаться, смерть мерещиться... Ах, не надо бы мне пить!

23 янв Утра 9 часов

МОРОЗ С КРЕЩЕНЬЯ ДЕРЖИТСЯ КРЕПЧЕ 20 градусов, а мне сегодня предстоит дальняя поездка.

Проснулся рано, читал в постели вчерашние газеты, поскольку вчера не имел на это ни минуты досуга, из Москвы приехал в двенадцатом часу ночи, весь день в банке неотрывно занимался и не заметил, как время прошло. Впрочем, новости в газетах такие, что их бы и вовсе не читать, да только от такой страусовой позиции жизнь не изменится. Так что сейчас дождусь кофе (как обычно, жду долго, а принесёт горничная кофейник уже холодным и к нему булки чёрствые; впрочем, того гляди, и таких не будет, за мукой везде очереди и ограничения) да отправлюсь на станцию в мерзейшем расположении.

Уже и у нас взрывы пошли, вот Архангельск... И каких ещё доказательств измены, очевидной всей стране, надо? Во время войны сами собой порты не взрываются. Тем больше, что германцы воюют безо всяких правил и объявили войну субмаринами даже и нейтральным судам. Так и надо теперь, в этом новом веке цинического бесчестия, наглого пренебрежения всеми вечными законами. Верно у Достоевского, которого уж вспоминал здесь, замечено, что если Бога нет, то можно решительно всё, что угодно зверю в человеке. А Бога и всех вообще богов всемирные либералы сильно потеснили за последние десять лет.

Конечно, я сознаю, что среди культурных людей я со своим старосветским отвержением всего, что считается прогрессом, а на самом деле есть злобное шутовство, тление и распад, получаюсь совершеннейшим монстром, ретроградом и едва ли не каннибалом. Да ещё православие моё, сохранившееся, несмотря на университет, хотя и не слишком истовое... Однако тут ещё посмотреть надо, кто каннибал — тот, кто хочет, чтобы оставалось всё не хуже, чем было, или тот, кто готов миллионы в землю положить, чтобы другим миллионам стало лучше, наступила полная свобода и никак не больше восьми часов в день работы. И обязательно справедливость! Ради установления справедливости между странами всю Европу пожгли, народу угробили больше, чем Тимур и Наполеон вместе, а ещё сколько угробим ради установления справедливости между людьми, неизвестно...

Ладно, достаточно, а то вовек эту заметку не кончу.

Между прочим, вот интересная вещь: от своего ретроградства я и пишу старым слогом, и сам замечаю, что теперь так уже никто не пишет. Теперь пишут, как Горький, будто лают: «гав! гав! гав!» И одни тире сплошь, это не проза русская, а азбука Морзе. Впрочем, как я пишу, совершенно не важно, поскольку никто моих заметок читать не будет, однако ж любопытно, что действительно выходит, как у какого-то француза, «стиль — это человек».

Пора завтракать и собираться в Москву. Сегодня обязательно надо встретиться с нею, уж более месяца не видались, а потом будет Великий пост... И ведь не осталось уже ничего, кроме дружеского отношения, да и не нужно обоим уже ничего, устали, умерла любовь без надежды. А всё увидеть тянет, посидеть молча в шуме и гаме трактира где-нибудь у самой заставы, даже и там непрестанно оглядываясь, не зашёл ли кто из знакомых, хотя какие могут быть знакомые в таком месте... Несчастные мы люди! Мне, по моему эгоистическому устройству, всё себя жалко, а про её отчаяние стараюсь не думать. Если же думать, то становится вовсе невыносимо. Ей-то каково придётся, когда до самого плохого дойдет? А я помочь не сумею, я и сам со своими убогими погибну. Одна надежда — на него, а он не в меньших трудностях, что и я. Мы вообще многим схожи...

И начну я, как всегда, жаловаться ей на свои обстоятельства. И нехорошо это, неблагородно взваливать на неё свои бессонные страхи, а кому сказать? Не жене же, которая погля-

дит своими, словно из зелёного льда, глазами, будто в грудь толкнёт, и перебьёт на втором слове, ещё и не услышав, о чём речь...

Нет, не всё следует и в эту тетрадь писать. Пишешь, а перед самим собою стыдно делается.

К тому ж наконец подан кофе — натуральным образом, холодный.

1 февраля

РЕДКО ПИШУ, ТАК ВЕДЬ И СВОБОДНЫЙ час выдаётся всё реже. Приезжаю намёрзшимся, усталым, в расстроенном состоянии духа, куда ж писать... Будто окоченело всё во мне. Неудивительно, впрочем: морозы держатся 20–25 градусов, и так везде, даже и в теплой Европе. Наказывает Господь людей, а им всё никакого удержу нет.

Одно есть странное улучшение в моей жизни – меньше пьянства. Вот что значит страх! Поначалу был обратный результат, каждую минуту хотелось приложиться, чтобы страх унять, а теперь уже и этого не хочется, потому что если выпьешь, то вместо страха жизни нападет страх смерти, как будто с каждой рюмкой отнимается от жизни минута, час, а то и день. Да ведь так оно и есть, вот в чём штука. Словом, как бы оно ни было, а в буфетную по ночам не хожу вовсе, да и днем в заведения не заворачиваю – ежели откровенно сказать, то, не в последнюю очередь, в рассуждении цен. Дорогая стала отравой!

Служба забирает целый день, удивительно, что вся финансовая механика действует в такие времена не только исправно, но полным ходом. Столько платежей в мирный месяц не проходило через нас, сколько сейчас в день. Конечно, рубль уже не тот, но всё равно на десятки тысяч считать приятно человеку, всю жизнь приставленному к чужим деньгам. За этой приятностью провёл время до обеда, перекусил тут же, на столе среди бумаг, пославши предварительно курьера в домашнюю столовую на углу Армянского за пирогами с кавказским сыром. Ими с чаем и удовлетворился, и то хорошо, а что дальше будет, вообразить нельзя: за хлебом хвосты, белого почти вовсе нет, а чёрного дают где по три, а где и только по два фунта на одного покупающего, а французская булка в фунт весом уже стоит 15 или 18 к., только её купить почти невозможно.

Что удивляет: у нас в Малаховке ничего подобного не происходит. В двадцати и даже меньше верстах от Москвы будто и нет военных трудностей. В пекарне возле станции любого печёного хлеба можно купить сколько угодно, в маленькой съестной лавке возле станции же предлагается любой товар, который там и раньше был, а судя по тому, что кухарка не предъявляет претензий на увеличение ассигнований, то и цены там немного не довоенные. Вот в какие едва ли не последние дни обнаружилось все ж таки важное преимущество моей дачной жизни.

Это странно и наводит вот на какую мысль: а не есть ли продовольственные трудности в Петрограде и Москве такие же следствия измены и немецкого влияния, как взрывы в разных местах и глупости в военном командовании? Принимаются повсеместно такие несуразные меры, что даже я, совсем не государственного ума обыватель, вижу их нелепость. Например, приостановление в январе на месяц с лишним Думы и Государственного совета. Либо уж вовсе разогнать их по военному особому положению, либо пусть говорят своё! А так получается одно только ненужное раздражение всех этих говорунов, которые и без того высказывают такое, будто на жаловании у кайзера состоят. С них и спроса нет, у этой публики ни совести, ни большого ума, рубят свой сук, но как же Государь может так вести дело? Значит, Алиса... Нет, не хочу так думать, потому что тогда и сам не буду отличаться от тех, кого презираю. Вот ведь беда: и Чхеидзе всё призывает покончить с прежней Россией через революцию, и Пуришкевич приближает, по существу, тот же конец своими обличениями. И это вместо того чтобы, напротив, призывать к усилению власти и единой, всеми сословиями, ей помощи... Неужто они, люди, все ж таки, очень неглупые и опытные, не понимают, что любое «обновление» обернётся сейчас ужасными бедствиями и полным разрушением, от которого выиграют только германский враг и свои, российские, враги порядка и благополучия, холодные преступники, а все прочие, в том числе и сами критики власти, пострадают или вовсе погибнут?!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.